|  |
| --- |
| **Гнев отца** |
| Накануне возвращения Беринга из долгого путешествия его сын, маленький Том Беринг, подвергся нападению тетки Корнелии и ее мужа, дяди Карла. Том пускал в мрачной библиотеке цветные мыльные пузыри. За ним числились преступления более значительные, например, дырка на желтой портьере, сделанная зажигательным стеклом, рассматривание картинок в "Декамероне", драка с сыном соседа, - но мыльные пузыри особенно взволновали Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил легкомыслия, и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдце с пеной, а тетя Корнелия - стеклянную трубочку.  Корнелия долго пророчила Тому страшную судьбу проказников: сделаться преступником или бродягой - и, окончив выговор, сказала:  - Страшись гнева отца! Как только приедет брат, я безжалостно расскажу ему о твоих поступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя.  Дядя Карл нагнулся, подбоченившись, и прибавил:  - Его гнев будет ужасен!  Когда они ушли, Том забился в большое кресло и попытался представить, что его ожидает. Правда, Карл и Корнелия выражались всегда высокопарно, но неоднократное упоминание о "гневе" отца сильно смущало Тома. Спросить тетку или дядю о том, что такое гнев, - значило бы показать, что он струсил. Том не хотел доставить им этого удовольствия.  Подумав, Том слез с кресла и с достоинством направился в сад, мечтая узнать кое-что от встреченных людей.  В тени дуба лежал Оскар Мунк, литератор, родственник Корнелии, читая газету.  Том приблизился к нему бесшумным индейским шагом и вскричал:  - Хуг!  Мунк отложил газету, обнял мальчика за колени и притянул к себе.  - Все спокойно на Ориноко, - сказал он. - Гуроны преступили в прерию. Но Том опечалился и не поддался игре.  - Не знаете ли вы, кто такой гнев? - мрачно спросил он. - Никому не говорите, что я говорил с вами о гневе.  - Гнев?  - Да, гнев отца. Отец приезжает завтра. С ним приедет гнев. Тетя будет сплетничать, что я пускал пузыри и прожег дырку. Дырка была маленькая, но я... не хочу, чтобы гнев узнал.  - Ах, так! - сказал Мунк с диким и непонятным для Тома хохотом, который заставил мальчика отступить на три шага. - Да, гнев твоего отца выглядит неважно. Чудовище, каких мало. У него четыре руки и четыре ноги. Здорово бегает! Глаза косые. Неприятная личность. Жуткое существо. Том затосковал и попятился, с недоумением рассматривая Мунка, так весело описывающего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать кого-либо еще, и он некоторое время задумчиво бродил по аллеям, пока не увидел девочку из соседнего дома, восьмилетнюю Молли; он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свои несчастья, но Молли, увидев Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним после совместного пускания стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких случаях, считался Том, хотя на этот раз сама Молли подговорила его "попробовать" попасть в раму.  Движимый чувством привязанности и благоговения к тоненькому кудрявому существу, Том бросился напрямик сквозь кусты, расцарапал лицо, но не догнал девочку и, вытерев слезы обиды, пошел домой.  Горничная, накрыв к завтраку стол, ушла. Том заметил большой графин с золотистым вином и вспомнил, что капитан Кидд (из книги "Береговые пираты") должен был пить ром на необитаемом острове, в совершенном и отвратительном одиночестве.  Том очень любил Кидда, а потому, влезши на стол, налил стакан вина, пробормотав:  - За ваше здоровье, капитан. Я прибыл на пароходе спасти вас. Не бойтесь, мы найдем вашу дочь.  Едва Том отхлебнул из стакана, как вошла Корнелия, сняла пьяницу со стола и молча, но добросовестно шлепнула три раза по тому самому месту. Затем раздался крик взбешенной старухи, и, вырвавшись из ее рук, преступник бежал в сад, где укрылся под полом деревянной беседки.  Он сознавал, что погиб. Вся его надежда была на заступничество отца перед гневом.  О своем отце Том помнил лишь, что у него черные усы и теплая большая рука, в которой целиком скрывалось лицо Тома. Матери он не помнил. Он сидел и вздыхал, стараясь представить, что произойдет, когда из клетки выпустят гнев.  По мнению Тома, клетка была необходима для чудовища. Он вытащил из угла лук с двумя стрелами, которые смастерил сам, но усомнился в достаточности такого оружия. Воспрянув духом, Том вылез из-под беседки и крадучись проник через террасу в кабинет дяди Карла. Там на стене висели пистолеты и ружья.  Том знал, что они не заряжены, так как говорилось об этом множество раз, но он надеялся выкрасть пороху у сына садовника. Пулей мог служить камешек. Едва Том вскарабкался на спинку дивана и начал снимать огромный пистолет с медным стволом, как вошел дядя Карл и, свистнув от удивления, ухватил мальчика жесткими пальцами за затылок. Том вырвался, упал с дивана и ушиб колено.  Он встал, прихрамывая, и, опустив голову, угрюмо уставился на огромные башмаки дяди.  - Скажи, Том, - начал дядя, - достойно ли тебя, сына Гаральда Беринга, тайком проникать в этот не знавший никогда скандалов кабинет с целью кражи? Подумал ли ты о своем поступке?  - Я думал, - сказал Том. - Мне, дядя, нужен был пистолет. Я не хочу сдаваться без боя. Ваш гнев, который приедет с отцом, возьмет меня только мертвым. Живой я не поддамся ему.  Дядя Карл помолчал, издал звук, похожий на сдавленное мычание, и стал к окну, где начал набивать трубку. Когда он кончил это занятие и повернулся, его лицо чем-то напоминало выражение лица Мунка.  - Я тебя запру здесь и оставлю без завтрака, - сказал дядя Карл, спокойно останавливаясь в дверях кабинета. - Оставайся и слушай, как щелкнет ключ, когда я закрою дверь. Так же щелкают зубы гнева. Не смей ничего трогать.  С тем он вышел и, два раза щелкнув ключом, вынул его и положил в карман.  Тотчас Том прильнул глазами к замочной скважине. Увидев, что дядя скрылся за поворотом, Том открыл окно, вылез на крышу постройки и спрыгнул с нее на цветник, подмяв куст цинний. Им двигало холодное отчаяние погибшего существа. Он хотел пойти в лес, вырыть землянку и жить там, питаясь ягодами и цветами, пока не удастся отыскать клад с золотом и оружием.  Так размышляя, Том скользил около ограды и увидел сквозь решетку автомобиль, несущийся по шоссе к дому дяди Карла. В экипаже рядом с пожилым черноусым человеком сидела белокурая молодая женщина. За этим автомобилем мчался второй автомобиль, нагруженный ящиками и чемоданами. Едва Том рассмотрел все это, как автомобили завернули к подъезду, и шум езды прекратился.  Смутное воспоминание о большой руке, в которой пряталось все его лицо, заставило мальчика остановиться, а затем стремглав мчаться домой. "Неужели это мой отец?" - думал он, пробегая напрямик по клумбам, забыв о бегстве из кабинета, с жаждой утешения и пощады.  С заднего входа Том пробрался через все комнаты в переднюю, и сомнения его исчезли. Корнелия, Карл, Мунк, горничная и мужская прислуга - все были здесь, все суетились вокруг высокого человека с черными усами и его спутницы.  - Да, я выехал днем раньше, - говорил Беринг, - чтобы скорее увидеть мальчика. Но где он? Не вижу его.  - Я приведу его, - сказал Карл.  - Я пришел сам, - сказал Том, протискиваясь между Корнелией и толстой служанкой.  Беринг прищурился, коротко вздохнул и, подняв сына, поцеловал его в расцарапанную щеку.  Дядя Карл вытаращил глаза.  - Но ведь ты был наказан! Был заперт!  - Сегодня он амнистирован, - заявил Беринг, подведя мальчика к молодой женщине.  "Не это ли его гнев? - подумал Том. - Едва ли. Не похоже".  - Она будет твоя мать, - сказал Беринг. - Будьте матерью этому дурачку, Кэт.  - Мы будем с тобой играть, - шепнул на ухо Тоvа теплый щекочущий голос.  Он ухватился за ее руку и, веря отцу, посмотрел в ее синие большие глаза. Все это никак не напоминало Карла и Корнелию. К тому же завтрак был обеспечен.  Его затормошили и повели умываться. Однако на сердце у Тома не было достаточного спокойствия потому, что он хорошо знал как Карла, так и Корнелию. Они всегда держали свои обещания и теперь, несомненно, вошли в сношения с гневом. Воспользовавшись тем, что горничная отправилась переменить полотенце, Том бросился к комнате, которая, как он знал, была приготовлена для его отца.  Том знал, что гнев там. Он заперт, сидит тихо и ждет, когда его выпустят.  Прильнув к замочной скважине, Том никого не увидел. На полу лежали связки ковров, меха, стояли закутанные в циновки ящики. Несколько сундуков - среди них два с откинутыми к стене крышками - непривычно изменяли вид большого помещения, обставленного с чопорной тяжеловесностью спокойной и неподвижной жизни.  Страшась своих дел, но изнемогая от желания снять давящую сердце тяжесть, Том потянул дверь и вошел в комнату. К его облегчению, на кровати лежал настоящий револьвер. Ничего не понимая в револьверах, зная лишь по книгам, где нужно нажать, чтобы выстрелило, Том схватил браунинг, и, держа его в вытянутой руке, осмелясь, подступил к раскрытому сундуку. Тогда он увидел гнев.  Высотой четверти в две, белое четырехрукое чудовище озлило на него из сундука страшные, косые глаза.  Том вскрикнул и нажал там, где нужно было нажать.  Сундук как бы взорвался. Оттуда свистнули черепки, лязгнув по окну и столам. Том сел на пол, сжимая не устающий палить револьвер, и, отшвырнув его, бросился, рыдая, к бледному, как бумага, Берингу, вбежавшему вместе с Карлом и Корнелией.  - Я убил твой гнев! - кричал он в восторге и потрясении. - Я его застрелил! Он не может теперь никогда трогать! Я ничего не сделал! Я прожег дырку, и я пил ром с Киддом, но я не хотел гнева!  - Успокойся, Том, - сказал Беринг, со вздохом облегчения сжимая трепещущее тело сына. - Я все знаю. Мой маленький Том... бедная, живая душа!  Александр Грин, журнал "Красная нива", 1929, Э 41. |

Дружище Тобик К. Паустовский

(О собаке Александра Грина)

У писателя Александра Степановича Грина был в тихом Старом Крыму невзрачный пёсик-дворняга Тобик. Пёсика этого вся улица, где жил Грин, несправедливо считала дураком.

Когда соседской цепной собаке – лохматому Жоре – хозяйка выносила миску с похлёбкой, Тобик продирался в соседский двор через лаз в заборе, но к миске не подходил, страшась предостерегающего Жориного рыка.

Тобик останавливался в нескольких шагах от Жоры, но так, чтобы тот не мог его достать, становился перед Жорой на задние лапки и «служил» долго и терпеливо.

Так он привык выпрашивать кусочки еды у людей. Но Жора не давал ему даже понюхать похлёбки.

За это стояние на задних лапках перед такой же собакой, как и он сам, люди считали Тобика дураком: зря, мол, старается.

Точно так же Тобик выпрашивал кусочки еды у самого Грина, и всякий раз удачно. Хозяин был молчаливый и очень добрый человек. Обращаясь к Тобику, он говорил ему: «Дружище!»

Косясь на Тобика, Жора рычал и давился. Он торопливо лакал похлёбку, а глаза у Тобика мутнели от тоски напрасного ожидания. Иной раз даже слёзы появлялись у него на глазах, когда Жора кончал есть похлёбку и тщательно, до блеска вылизывал пустую миску. После этого Жора ещё долго обнюхивал землю вокруг миски – не завалилась ли там какая-нибудь косточка.

– Ну и дурак ваш Тобик, – злорадно говорили Грину соседи – Нет никакого соображения у этой собаки.

На это Грин спокойно отвечал соседям:

– Не дурак, а просто умная и вежливая собака.

В спокойствии гриновского голоса слышался нарастающий гнев, и соседи, всю жизнь привыкшие лезть в чужие дела, уходили, пожимая плечами, – лучше подальше от этого человека.

Я увидел Тобика после смерти Грина. Он ослеп, как говорили, от старости. Он сидел на пороге глинобитного белого дома, в котором умер Грин, и солнце отражалось в его жёлтых беспомощных глазах. Услышав, как скрипнула за мной калитка, он встал, неуверенно подошёл ко мне, ткнулся холодным носом в ноги и замер. Только старый и пушистый его хвост помахивал из стороны в сторону и поднимал белую известковую крымскую пыль.

– Давно он ослеп? – спросил я.

– Да после смерти хозяина. Всё тоскует, всё ждёт.

Я ожидал, что ответ будет именно таким, так как знал давно, что единственные живые существа на земле, которые умирают от разлуки с человеком, – это собаки.

Только один раз за всю жизнь я видел действительно глупую собаку. Это было под Москвой в дачной местности Переделкино. Молодой рыжий сеттер лаял на шишки, падавшие с вершин сосен. Дул сильный, порывистый ветер, и чем сильнее он дул, тем всё чаще падали шишки и тем всё больше разъярялся сеттер. Он свирепо гонялся за шишками, грыз их, мотал головой и отплёвывался. Потом он выбежал за забор дачи в чистое поле, где не было сосен и вообще никаких деревьев и никакие шишки не падали. Он сел среди поля, начал лаять на небо и лаял до рассвета, пока не охрип. По мнению одного поэта – знатока астрономии, он лаял на созвездие Малой Медведицы. Очевидно, он полагал, что все шишки сыплются из этого созвездия.

Выражение «собака – друг человека» безнадёжно устарело. У нас нет ещё слова, которое могло бы выразить одновременно самоотверженность, смелость и ум – все те великолепные качества, какими обладает собака. Я точно знаю, что человек, избивающий или мучающий собаку, – отпетый негодяй, даже если собака его за это простила.

Не знаю, как вы, а я испытываю величайшую нежность к собакам за их ласковость, за бурные проявления радости и обиды. Невозможно удержаться от смеха, когда видишь, как какой-нибудь Бобик бешено мчится со всех ног, чтобы догнать и облаять самое ненавистное для него изобретение человека – обыкновенное велосипедное колесо.

Любите собак. Не давайте их никому в обиду. Они ответят вам троекратной любовью.

|  |
| --- |
| **Прощание с летом** |
| Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.  Был конец ноября – самое грустное время в деревне. Кот спал весь День, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна.  Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал: ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.  Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и па старой гравюре – портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.  Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно – может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.  После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.  По ночам часто плакал во сне Фунтик – маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.  Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался в наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.  Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну – за Стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.  Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.  Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.  Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.  Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:  – Первый снег очень к лицу земле.  Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.  А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.  К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.  – Вот и умылась земля, – сказал он, – снеговой водой из серебряного корыта.  – Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? – спросил Рувим.  – А нешто не верно? – усмехнулся дед. – Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.  Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».  В лесах было торжественно, светло и тихо.  День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.  Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах.  Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины – это была последняя память о лете, об осени.  На маленьком озере – оно называлось Лариным прудом – всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, прозрачная, – вся ряска к зиме опустилась на дно.  У берегов наросла стеклянная полоска льда. Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы и догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.  Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда ими медленные снеговые тучи.  В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и наконец пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.  Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.  1940 |

**"Ёлка"**

*Рассказы для детей. М.М. Зощенко*

В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. Значит, выходит, что я сорок раз видел новогоднюю ёлку. Это много!

Ну, первые три года жизни я, наверно, не понимал, что такое ёлка. Наверно, мама выносила меня на ручках. И, наверно, я своими чёрными глазёнками без интереса смотрел на разукрашенное дерево.

А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже отлично понимал, что такое ёлка. И я с нетерпением ожидал этого весёлого праздника. И даже в щёлочку двери подглядывал, как моя мама украшает ёлку.

А моей сестрёнке Леле было в то время семь лет. И она была исключительно бойкая девочка. Она мне однажды сказала:

— Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в комнату, где стоит ёлка, и поглядим, что там делается.

Вот мы с сестрёнкой Лелей вошли в комнату. И видим: очень красивая ёлка. А под ёлкой лежат подарки. А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки.

Моя сестрёнка Леля говорит:

— Не будем глядеть подарки. А вместо того давай лучше съедим по одной пастилке. И вот она подходит к ёлке и моментально съедает одну пастилку, висящую на ниточке. Я говорю:

— Леля, если ты съела пастилочку, то я тоже сейчас что-нибудь съем. И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек яблока. Леля говорит:

— Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую пастилку съем и вдобавок возьму себе ещё эту конфетку.

А Леля была очень такая высокая, длинновязая девочка. И она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую пастилку. А я был удивительно маленького роста. И мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю:

— Если ты, Лелища, съела вторую пастилку, то я ещё раз откушу это яблоко. И я снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю. Леля говорит:

— Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью пастилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех. Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю:

— А я, Лелища, как поставлю к ёлке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока.

И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к ёлке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул. Но он снова упал. И прямо на подарки. Леля говорит:

— Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку.

Тут раздались мамины шаги, и мы с Лелей убежали в другую комнату. Леля говорит:

— Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет.

Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями. И тогда наша мама зажгла все свечи на ёлке, открыла дверь и сказала:

— Все входите.

И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка. Наша мама говорит:

— Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение.

И вот дети стали подходить к нашей маме. И она каждому дарила игрушку. Потом снимала с ёлки яблоко, пастилку и конфету и тоже дарила ребёнку. И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала:

— Леля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко? Леля сказала:

— Это Минькина работа.

Я дёрнул Лелю за косичку и сказал:

— Это меня Лелька научила. Мама говорит:

— Лелю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко.

И она взяла паровозик и подарила его одному четырёхлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть. И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала:

— С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком. И я сказал:

— Можете уходить, и тогда паровозик мне останется. И та мама удивилась моим словам и сказала:

— Наверное, ваш мальчик будет разбойник. И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме:

— Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребёнком и никогда к нам больше не приходите. И та мама сказала:

— Я так и сделаю. С вами водиться — что в крапиву садиться. И тогда ещё одна, третья мама, сказала:

— И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой. И моя сестрёнка Леля закричала:

— Можете тоже уходить со своим золотушным ребёнком. И тогда кукла со сломанной ручкой мне останется. И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:

— Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся. И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни. Но вдруг в комнату вошёл наш папа. Он сказал:

— Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве. И папа подошёл к ёлке и потушил все свечи. Потом сказал:

— Моментально ложитесь спать. А завтра все игрушки я отдам гостям. И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, и я до сих пор хорошо помню эту ёлку. И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно весёлый и добродушный.

["Пушок". Георгий Скребицкий](http://www.razumniki.ru/pushok_skrebickiy.html)  
 • ["Воробьишко" Максим Горький](http://www.razumniki.ru/vorobey_gorkiy.html)  
 • ["Стыдно перед соловушкой" В.А. Сухомлинский](http://www.razumniki.ru/stydno_pered_solovushkoy_suhomlinskiy.html)  
 • ["Трусиха" Н.М. Артюхова](http://www.razumniki.ru/trusiha_artuhova.html)  
 • ["Девочка со спичками" Андерсен Ганс Христиан](http://www.razumniki.ru/devochka_so_spichkami_andersen.html)  
 • ["Капалуха" В.П. Астафьев](http://www.razumniki.ru/kapaluha_rasskaz_astafev.html) • [«Тайна запечного сверчка» Геннадий Цыферов](http://www.razumniki.ru/tayna_zapechnogo_sverchka_cyferov.html)  
 • ["Что за зверь?" Чарушин Е.И.](http://www.razumniki.ru/chto_za_zver_charushin.html)  
 • ["Страшный рассказ" Чарушин Е.И.](http://www.razumniki.ru/strashnuy_rasskaz_charushin.html)  
 • ["Удивительный почтальон" Чарушин Е.И.](http://www.razumniki.ru/udivitelnuy_pochtalon.html)  
 • ["Яша" Чарушин Е.И.](http://www.razumniki.ru/yasha_charushin.html)  
 • ["Верный Трой" Чарушин Е.И.](http://www.razumniki.ru/vernuy_troy_charushin.html)  
 • ["Кот Епифан" Чарушин Е.И.](http://www.razumniki.ru/kot_epifan_charushin.html)  
 • ["Друзья" Чарушин Е.И.](http://www.razumniki.ru/druzya_charushin.html)  
 • ["Почему Тюпу прозвали Тюпой". "Тюпа маленький". "Почему Тюпа не ловит птиц". Чарушин Е.И.](http://www.razumniki.ru/rasskaz_pro_tupu_charushin.html)  
 • ["Томка". "Как Томка научился плавать". "Томка испугался". "Томкины сны". "Как Томка не показался глупым". "Никита-доктор". Чарушин Е. И.](http://www.razumniki.ru/rasskaz_pro_tomku_charushin.html)  
 • ["Воробей" Чарушин Е. И.](http://www.razumniki.ru/vorobey_charushin.html)  
 • ["Поздним вечером" Ю.В. Бондарев](http://www.razumniki.ru/pozdnim_vecherom_bondarev.html)  
 • ["Стрижонок Скрип" В.П. Астафьев](http://www.razumniki.ru/strigonok_skrip_astafev.html)

**Юрий Коваль\* Нюрка \***

Нюрке дядизуевой было шесть лет. Долго ей было шесть лет. Целый год. А

как раз в августе стало Нюрке семь лет. На Нюркин день рождения дядя Зуй

напек калиток -- это такие ватрушки с пшенной кашей -- и гостей позвал. Меня

тоже. Я стал собираться в гости и никак не мог придумать, что Нюрке

подарить.

-- Купи конфет килограмма два,-- говорит Пантелевна.-- Подушечек.

-- Ну нет, тут надо чего-нибудь посерьезнее.

Стал я перебирать свои вещи. Встряхнул рюкзак -- чувствуется в рюкзаке

что-то тяжелое. Елки-палки, да это же бинокль! Хороший бинокль. Все в нем

цело, и стекла есть, и окуляры крутятся.

Протер я бинокль сухой тряпочкой, вышел на крыльцо и навел его на

дядизуев двор. Хорошо всЈ видно: Нюрка по огороду бегает, укроп собирает,

дядя Зуй самовар ставит.

-- Нюрка,-- кричит дядя Зуй,-- хрену-то накопала?

Это уже не через бинокль, это мне так слышно.

-- Накопала,-- отвечает Нюрка.

Повесил я бинокль на грудь, зашел в магазин, купил два кило подушечек и

пошел к Нюрке.

Самый разный народ собрался. Например, Федюша Миронов пришел в хромовых

сапогах и с мамашей Миронмхой. Принес Нюрке пенал из бересты. Этот пенал дед

Мироша сплел.

Пришла Маня Клеткина в возрасте пяти лет. Принесла Нюрке фартук белый,

школьный. На фартуке вышито в уголке маленькими буковками: "Нюри".

Пришли еще ребята и взрослые, и все дарили Нюрке что- нибудь школьное:

букварь, линейку, два химических карандаша, самописку. ,, -

Тетка Ксеня принесла специальное коричневое первоклассное школьное

платье. Сама шила. А дядя Зуй подарил Нюрке портфель из желтого

кожзаменителя.

Братья Моховы принесли два ведра черники.

-- Целый день,-- говорят,-- сбирали. Комары жгутся.

Мирониха говорит:

-- Это нешкольное.

-- Почему же нешкольное?-- говорят братья Моховы.-- Очень даже

школьное.

И тут же сами поднавалились на чернику. Я говорю Нюрке:

-- Ну вот, Нюра, поздравляю тебя. Тебе теперь уже семь лет. Поэтому

дарю тебе два кило подушечек и вот -- бинокль.

Нюрка очень обрадовалась и засмеялась, когда увидела бинокль. Я ей

объяснил, как в бинокль глядеть и как на что наводить. Тут же все ребята

отбежали шагов на десять и стали на нас в этот бинокль по очереди глядеть.

А Мирониха говорит, как будто бинокль в первый раз видит:

-- Это нешкольное.

-- Почему же нешкольное,-- обиделся я,-- раз в него будет школьница

смотреть?

А дядя Зуй говорит:

-- Или с учителем Алексей Степанычем залезут они на крышу и станут на

звезды глядеть.

Тут все пошли в дом и как за стол сели, так и навалились на калитки и

на огурцы. Сильный хруст от огурцов стоял, и особенно старалась мамаша

Мирониха. А мне понравились калитки, сложенные конвертиками.

Нюрка была очень веселая. Она положила букварь, бинокль и прочие

подарки в портфель и носилась с ним вокруг стола.

Напившись чаю, ребята пошли во двор в лапту играть.

А мы сели у окна и долго пили чай и глядели в окно, как играют ребята в

лапту, как медленно приходит вечер и как летают над сараями и над дорогой

ласточки-касатки.

Потом гости стали расходиться.

-- Ну спасибо,-- говорили они.-- Спасибо вам за огурцы и за калитки.

-- Вам спасибо,-- отвечала Нюрка,-- за платье спасибо, за фартук и за

бинокль.

Прошла неделя после этого дня, и наступило первое сентября.

Рано утром я вышел на крыльцо и увидел Нюрку.

Она шла по дороге в школьном платье, в белом фартуке с надписью:

"Нюри". В руках она держала большой букет осенних золотых шаров, а на шее у

нее висел бинокль.

Шагах в десяти за нею шел дядя Зуй и кричал:

-- Смотри-ка, Пантелевна, Нюрка-то моя в школу пошла!

-- Ну-ну-ну...-- кивала Пантелевна.-- Какая молодец!

И все выглядывали и выходили на улицу посмотреть на Нюрку, потому что в

этот год она была единственная у нас первоклассница.

Около школы встретил Нюрку учитель Алексей Степаныч. Он взял у нее

цветы и сказал:

-- Ну вот, Нюра, ты теперь первоклассница. Поздравляю тебя. А что

бинокль принесла, так это тоже молодец. Мы потом залезем все на крышу и

будем на звезды смотреть.

Дядя Зуй, Пантелевна, тетка Ксеня, Мирониха и еще много народу стояли у

школы и глядели, как идет Нюрка по ступенькам крыльца. Потом дверь за ней

закрылась.

Так и стала Нюрка первоклассницей. Еще бы, ведь ей семь лет. И долго

еще будет. Целый год.

--------

**\* Стожок \* Ю. Иосифович Коваль**

У излучины реки Ялмы в старой баньке жил, между прочим, дядя Зуй.

Жил он не один, а с внучкою Нюркой, и было у него все, что надо,-- и

куры и корова.

-- Свиньи вот только нету,-- говорил дядя Зуй.-- А на что хорошему

человеку свинья?

Еще летом дядя Зуй накосил в лесу травы и сметал стожок сена, но не

просто сметал -- хитро: поставил стог не на землю, как все делают, а прямо

на сани, чтоб сподручней было зимой сено из лесу вывезти.

А когда наступила зима, дядя Зуй про то сено забыл.

-- Дед,-- говорит Нюрка,-- ты что ж сено-то из лесу не везешь? Ай

позабыл?

-- Какое сено? -- удивился дядя Зуй, а после хлопнул себя по лбу и

побежал к председателю лошадь просить.

Лошадь председатель дал хорошую, крепкую. На ней дядя Зуй скоро до

места добрался. Смотрит -- стожок его снегом занесен.

Стал он снег вокруг саней ногой раскидывать, оглянулся потом -- нет

лошади: ушла, проклятая!

Побежал вдогонку -- догнал, а лошадь не идет к стогу, упирается.

"С чего бы это она,-- думает дядя Зуй,-- упирается-то?"

Наконец-таки запряг ее дядя Зуй в сани.

-- Но-о-о!..

Чмокнет дядя Зуй губами, кричит, а лошадь ни с места -- полозья к земле

крепко примерзли. Пришлось по ним топориком постукать -- сани тронулись, а

на них стожок. Так и едет, как в лесу стоял.

Дядя Зуй сбоку идет, на лошадь губами чмокает. К обеду добрались до

дому, дядя Зуй стал распрягать.

-- Ты чего, Зуюшко, привез-то? -- кричит ему Пантелевна.

-- Сено, Пантелевна. Чего ж иное?

-- А на возу у тебя что?

Глянул дядя Зуй и как стоял, так и сел в снег. Страшная , какая-то,

кривая да мохнатая морда выставилась с воза -- медведь!

"Рру-у-у!.."

Медведь зашевелился на возу, наклонил стог набок и вывалился в снег.

Тряхнул башкой, схватил в зубы снегу и в лес побежал.

-- Стой! -- закричал дядя Зуй.-- Держи его, Пантелевна!

Рявкнул медведь и пропал в елочках. Стал народ собираться. Охотники

пришли, и я, конечно, ними. Толпимся мы, разглядываем медвежьи следы.

Паша-охотник говорит:

-- Вон какую берлогу себе придумал -- Зуев стожок.

А Пантелевна кричит-пугается:

-- Как же он тебя, Зуюшко, не укусил?..

-- Да-а,-- сказал дядя Зуй,-- будет теперь сено медвежатиной разить.

Его, наверно, и корова-то в рот не возьмет.

Зачем я убил коростеля? Виктор Петрович Астафьев

|  |
| --- |
| Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу.   Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже заваливаясь набок.   От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать — непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа!   Я догнал птицу в борозде и, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилищем.   Я взял в руку птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана.   Я узнал птицу — это был коростель. Дергач по-нашему. Все его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края — зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки — в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его.  И худое, почти невесомое тельце птицы ли, нехитрая ли окраска, а может, и то, что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность.   Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей.   Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни.   Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли.  И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке.   И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая того несмышленого, азартного парнишку.   Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете.   Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «…где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косой не тронут, где васильковые глаза…». Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от гибельной зимы.   Не приспособленная к полету, но быстрая на бегу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути и особенно при перелете через море.   Как идет коростель, где, какими путями — мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц — небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает. Все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас, на Руси, пекут жаворонков к их прилету.   Птица коростель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти.   Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли.   Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем? |

  Юрий Бондарев. "Простите нас!"   
     Южный экспресс задержался здесь не более пяти минут. Павел Георгиевич долго стоял на безлюдной платформе и слушал горячую трескотню кузнечиков за насыпью степного разъезда.   
     После духоты вагона, утомительных дорожных разговоров в накуренном купе за полночным преферансом, ненужных знакомств, после надоедливого поскрипывания полок Павла Георгиевича охватила неправдоподобная тишина, казалось, совсем как в детстве.   
     Он не без удовольствия сел на чемодан, перекинул плащ через плечо и сидел так, оглядываясь со счастливым облегчением. Хотя по роду своей профессии ему не так много приходилось ездить, он непонятно почему любил нефтяной запах шпал, гудки паровозов, спешащий перестук колес, мотание из стороны в сторону последней площадки, где в руке кондуктора мелькал выцветший свернутый флажок, теплый ветер от бегущих вагонов - все это будило смутное желание к движению, к перемене мест.   
     Иногда в Москве, до глубокой ночи засиживаясь над чертежами, он подымал голову, глядя в распахнутое в тополя окно, и, задумавшись, подолгу слушал, как вкрадчиво над спящим городом перекликались на вокзалах ночные поезда. Порой гудки мешали ему, будоражили его, и отчего-то тогда вспоминалась вечереющая степь с пыльным закатом над темными стогами, и, подхваченный волнением, он бросал работу, на цыпочках, чтобы не разбудить жену, уходил из дому, бродил по пустынным и тихим улицам.   
     Павел Георгиевич Сафонов работал на большом заводе конструктором, был известен, с годами привык к этой известности и, казалось, даже немного устал от нее, как порой устают люди, когда к ним рано приходит успех и удовлетворение. В этом году Сафонов, утомленный сложной зимней работой, был в санатории на Южном берегу Крыма. Ослепительно-солнечный юг с его острой, сухой жарой, неестественно экзотическими пальмами на бульварах, прокаленный песок пляжа, купание и процедурное лежание под теплым йодистым дуновением моря, весь санаторный режим располагали к безделью, одолевала курортная лень, и мысли в эту жару тоже были притупленные, ленивые, и хотелось быстрее в Москву, к осенним дождям, к мокрому асфальту, к блеску фонарей в лужах.   
     Южный экспресс, на котором Сафонов возвращался из санатория, мчал его по знакомым местам, где Павел Георгиевич родился, вырос, где он не был много лет. Утром, глядя в овлажненные окна тамбура на прохладную степь, Сафонов с какой-то грустной обостренностью вспоминал то, что уже было полузабыто: вот он, мальчишка, в грязной сатиновой рубашке, с цыпками на руках, бежит по этой ледяной от росы степи, бежит вслед за поездом неизвестно куда, и отяжелевшая от влаги трава хлещет его по коленям, приятно холодит ноги... Сколько тогда ему было лет? Порой ясно чудилось, будто вместе с Верой он идет по лунным косякам на Шахтинском холме, внятно и резко пахнет из низин полынью, и потрескавшиеся, обветренные губы Веры тоже пахнут полынью. Воспоминания возвращали его в давний прожитый (а может быть, непрожитый) мир, говорили, напоминали, что ему уже за сорок и что не так много сделано в его жизни, где давно, отмеченная прочными вехами, первая молодость прошла.   
     И вдруг его непреодолимо потянуло побывать в родном своем степном городке: побродить по нему, почитать афиши на заборах, увидеть старые названия улиц, узнать, что изменилось в нем за многие годы, непременно встретить знакомых школьных лет, таких далеких, словно их и не было. Ему страстно захотелось посидеть с другом юности Витькой Снегиревым где-нибудь в летнем кафе, под тентом, за холодным пивом, вспомнить то наивное, давнее и милое, что уже никогда не повторится, но что все-таки было когда-то в его жизни.   
     И хотя это желание победило, Павел Георгиевич с ироническим видом потер нос (в свои годы он иногда подтрунивал над собственными желаниями), вошел в купе, где все спали, подумал еще раз, уложил чемодан, взял плащ и, к удивлению заспанного проводника, бесшумно подметающего в коридоре, сошел на маленьком разъезде этим ранним августовским утром. Он сошел не на вокзале в городе, а именно здесь, чтобы дойти до города пешком.   
     Южный экспресс с жаркими от зари стеклами, с запыленными занавесками тронулся, полетели вдоль насыпи бумажки, поднятые ветром, и ушел быстро; дымки почти беззвучного паровоза таяли среди сиренево стекленеющего неба далеко на западе, все стихло.   
     Только у самой насыпи неумолчно звенели, трещали в неестественной тишине кузнечики.   
     Сидя на чемодане, Сафонов не без волнения выкурил папиросу, подумал: "Необычайно хорошо!" - и с наслаждением вдохнул на полную грудь зябкий и чистый, как ключевая вода, воздух. Степь, по-летнему пестрая, в этот спокойный час утра тепло и ало краснела за холмами на востоке. Там, в эту пылающую, мнилось, бесконечность пылила вдали по косогору грузовая машина, и, четко вырезанные по красному, проступали терриконики, дальние силуэты водонапорной башни, оазисы беленьких домов, острые верхушки тополей.   
     С насыпи Павел Георгиевич не торопясь спустился в степь, как в чашу, полную еще сырой прохлады; тугой волной обдавало горьковатым запахом полыни. И пока он выбрался на дорогу, колени его стали влажными от росы, на плащ, на брюки нацеплялись репейники, чемодан облепили мокрые лепестки.   
     Он шагал по дороге, приятно утопая ботинками в мягкой пыли, затем сорвал прутик с молодой липкой кожицей; по-мальчишески сбивая росу, ударил им по головке какого-то фиолетового цветка у обочины (название которого в детстве знал, но теперь забыл). Из глубины цветка неожиданно поднялся сонный золотистый шмель, весь в намокшей пыльце, и тяжело, сердито прогудел мимо.   
     - Ишь ты! - сказал Павел Георгиевич, провожая его веселым взглядом. - Прости, если потревожил...   
     Когда Сафонов вошел в родной городок, окраины встретили его длинными, через всю дорогу, тенями от старых тополей; кое-где в садах подымался синеватый самоварный дымок, ветви обогретых солнцем яблонь свешивались через заборы. Сафонов шел, помахивая прутиком, глубоко вдыхал запах садовой свежести, этот смолистый самоварный дымок - эти запахи, эти тени от тополей напоминали детство, голубятню, игры в Чапаева, сокрушительные набеги на чужие сады, - как давно это было! Да было ли?   
     Весь день он ходил по городу и не узнавал его. И город не узнавал Сафонова. Старинный степной этот городок был точно заново заселен, заново выстроен; комфортабельно блещущий зеркальными витринами центр его кишел пестрой, куда-то спешащей через перекрестки толпой, милиционеры, с шоколадно опаленными солнцем лицами, в белых кителях, заученно-щегольски взмахивая палочками, регулировали движение; разомлевшие, потные люди стояли на троллейбусных остановках в пятнистой тени акаций, везде продавали газированную воду, как в Москве, как на улице Горького... А раньше тут зевали от жары, лениво покрикивали краснолицые, бородатые мороженщики в передниках, похожие на дворников, и залитые зноем улицы были безлюдны, накалены, только собаки лежали в прохладе крылец, дремали, высунув языки, и в белой запыленной полыни стонали куры.   
     Он четыре раза не спеша проходил по той улице, где родился и где прежде стоял его низенький глинобитный домик. Теперь на этом месте был бульвар, молодой, свежий, с песчаными аллеями, исполосованный тенями, солнечными пятнами. И этот бульвар, которого никогда не было, совсем не помнил и не знал детства Павла Георгиевича, не знал, как здесь он неуклюже поцеловал у несуществующей сейчас калитки Веру, и она, странно потрогав пальцами свои губы, откинув голову, сказала с беспомощной растерянностью: "Теперь на всю жизнь, да?"   
     Сафонов сел на скамью, долго оглядывал бульвар с томительно замирающим сердцем. Ничего не осталось от прежнего, от его детства, ничего не осталось... И было обидно, непонятно это, будто жестоко и зло обманули его, отняли что-то у него, чего нельзя было отнимать.   
     Но где сейчас Витька Снегирев, где Вера? Витька - первая мальчишеская преданность, Вера, как говорят, - первая любовь, мучительная и трогательная, с записками в школе, с мягко падающим снегом на крыльцо, с первым неумелым поцелуем, который он помнил...   
     Павел Георгиевич посмотрел на детские коляски, на малышей в белых панамах, ползающих среди песка, на загорелого парня в безрукавке, угловатую, как подросток, девушку с веточкой акации в зубах, совсем незнакомых, медленно идущих по аллее бульвара, и поднялся, каким-то постаревшим движением перекинул плащ через руку. Он почему-то почувствовал себя экскурсантом в этом городе.   
     Но его вдруг потянуло на Садовую, там, на этой окраинной улице, густо заросшей деревьями, жил в том мире детства Витька Снегирев, а на углу, возле аптеки, в маленьком доме, - Вера. Он хотел что-нибудь узнать о них: "Что с ними? Как они?"   
     Садовая улица была прежней, седые акации вперемежку с тополями, разросшиеся вдоль забора, переплелись над ней, образовали над всей улицей зеленый темный шалаш, и мохнатыми гусеницами валялись на тротуаре тополиные сережки, как тогда, в детстве. Сафонов глядел по сторонам на эти милые с детства, затененные листвой одноэтажные дома, на слабо поблескивающие стекла летних террас, пышно увитые плющом, и жадно искал здесь старое, знакомое, неповторимое.   
     "Вот он, домик... Витьки Снегирева! Да, да! Дом N\_5". Этот номер с фонарем едва виден был сквозь плотные ветви деревьев, и Павел Георгиевич даже удивленно улыбнулся, сдвинул шляпу на затылок. И, тут же почувствовав мгновенную нерешительность, поднялся на ступеньки старенького, скрипучего крыльца, нагретого солнцем; запахло сухим деревом.   
     Его встретила пожилая женщина. Он не знал ее. "Нет, Снегиревы здесь после войны не живут, уехали все. Может, запамятовала, но вроде бы они в Свердловске. Кажись, сын у них - директор завода. Два года назад в отпуск приезжал. А вы кто будете, гражданин? Сродственник им или как?"   
     Павел Георгиевич, слушая, снял шляпу, теребил ее в руках; наконец, поняв все, досадливо пробормотал невнятные слова: "Да, дальний родственник" - и с едким чувством горечи и какого-то обмана тихо спустился с крыльца.   
     Куда идти? И все-таки он не терял еще надежды найти кого-либо, узнать о ком-нибудь, он хорошо помнил, не выпускал из памяти островерхую крышу аптеки в дальнем конце улицы и рядом домик под тополями, где когда-то жила Вера.   
     Однако к этому дому, видневшемуся за вывеской аптеки, он подходил с такой опаской, робостью, с таким внезапно поднявшимся в нем волнением, что пришлось остановиться на углу под тополями, справиться со сбившимся дыханием. Неужели он еще любил ее? Не понимал, что владело им, женатым и семейным человеком, - возможно, мгновенное чувство острого сожаления, что все получилось как-то не так, возможно, воспоминания о тех первых ощущениях мелькнувшего давным-давно счастья.   
     Он вытер пот со лба, нажал кнопку звонка. И ждал, опять теребя пальцами шляпу, преодолевая неуверенность.   
     Постаревшая Верина мать (он тотчас узнал ее, но она не сразу узнала его: "Боже мой, Павлуша, ты ли это? Приехал, Павлик?"), нелепо суетясь и виновато извиняясь за беспорядок в комнате, усадила его на диван и стала слишком поспешно расспрашивать и одновременно говорить, что "мы слышали, все знаем, как ты далеко пошел", а он, едва понимая ее, с нетерпением ожидая, когда она кончит задавать вопросы, спросил наконец запнувшимся голосом:   
     - А где Вера?.. Где она?   
     - Ве-ера? - Она странно посмотрела на него. - Вера? - повторила она тише и отвернулась, подняла руку, точно загораживая лицо.   
     Ему стало душно.   
     - Где она? - почти шепотом повторил он.   
     - Разве ты не знаешь, Павлуша? Нет Веры... Нет Веры... Она ведь на войне санитаркой...   
     - Не может быть, - растерянно и глухо сказал Сафонов.   
     Потом он помнил: Верина мать, провожая его, все смотрела ему, казалось, в самые зрачки текучим, задумчивым взглядом и повторяла грустно:   
     - Как жаль, как жаль!.. Вы вместе росли...   
     Сафонов ощущал себя окончательно разбитым. Он теперь не знал, куда идти, кого искать, и совсем бесцельно зашел в летнее кафе на углу. Было жарко и все так же душно, не хотелось есть, но, когда подошел официант, он заказал две бутылки пива, долго сидел в шуме, бестолковом говоре под теневым зонтиком, устало глядя на город, весь зеленеющий акациями, южный по своей белой и солнечной красоте и почему-то чужой ему сейчас.   
     И было тоскливо, одиноко, досадно; и, не допив пиво, чувствуя раздражение, неудовлетворенность, он неожиданно для самого себя расплатился и не без последнего упорства пошел снова бродить по городу со слабой надеждой.   
     Но он так никого и не встретил. А в десятом часу вечера, вконец усталый и будто ограбленный, он направился в сторону вокзала, вышел на 1-ю Пристанционную. В тихих сумерках зажигались фонари, неподвижно зажелтели в пролете улицы, от садов резко и свежо потянуло прохладой, загорелся свет в домах, за забором на террасе заиграла радиола. По шоссе в сторону городского парка с шелестом проносились уже освещенные, как зеленые аквариумы, троллейбусы; на углу зыбко переливалась неоновыми зигзагами реклама кинотеатра.   
     В этом городе никто не знал его. Только Верина мать...   
     Павел Георгиевич подошел к троллейбусной остановке, надел плащ, поднял голову и внезапно в проеме улицы увидел свою школу - четырехэтажная, с темными окнами, она стояла, как и тогда... Она не изменилась. Она была прежней, как в детстве, как много лет назад.   
     Он несколько минут, не отрываясь, смотрел на темный силуэт школы, затем, точно кем-то подталкиваемый, отчаянно махнул рукой, вошел в пустынный чернеющий школьный парк... И с радостным утомлением сел под старой акацией, возле которой когда-то на переменах играли в фанты. Это бывало весной, когда земля еще приятно отдавала сыростью!.. Он ощупал скамью, погладил ствол акации и засмеялся, как будто он встретил очень давнего знакомого, до боли доброго, совсем не изменявшегося знакомого, который все знал о Павле Георгиевиче, и Павел Георгиевич все знал о нем...   
     Неужели он когда-то сидел за партой? Неужели когда-то, во время весенних экзаменов, был над школой глухой гром и майский ливень обрушился на город с веселой яростью первой грозы? И прошел с бурным плеском в асфальт, с шумом дождевых струй по ветвям, со звоном в водосточных трубах, с фиолетовыми над мокрыми домами молниями... И тогда хотелось бросить экзамены, бежать вместе с мальчишками под этим веселым теплым дождем и, задрав штаны, болтать ногами в парных лужах, которые еще пузырились, но в них уже отражалось посветлевшее небо.   
     "Да, ведь это было!" Он представил все ярко и, с волнением и любопытством опять посмотрев на темное здание школы, вдруг заметил справа, в сырой темноте парка под густыми акациями, красный огонек, пробивающийся меж ветвей. Неужели Мария Петровна?.. Здесь жила Мария Петровна, его учительница по математике, как же он сразу о ней не подумал, не вспомнил! Всегда он был ее любимцем, она пророчила ему блестящее математическое будущее...   
     И, вскочив со скамьи, Сафонов зашагал по аллее в глубину парка, а когда близко увидел маленький домик под деревьями, тусклый свет в окне, задернутом красной занавеской, он даже задыхался. Сколько лет они не виделись! Здесь ли она теперь? Жива ли? Что с ней? Как много было связано с этим именем "Мария Петровна"!..   
     И Сафонов осторожно, сдерживая дыхание, взошел на крыльцо. Он хотел постучать - дверь оказалась открытой, он вошел в неосвещенную переднюю, пахнущую керосином. Под дверью в комнату лежала щель света.   
     Сафонов постучал. Ответа не последовало.   
     Сафонов в растерянности нажал на запертую дверь и тут только понял: в доме никого не было. И тогда, усмехнувшись над самим собой, послушав, как в пустой, должно быть, комнате играло радио, Сафонов ощупью в темной передней пошел к выходу. Он задел за что-то плечом, с грохотом упало ведро. Павел Георгиевич машинально наклонился, хотел поднять это ведро и выронил шляпу, с сердцем выругавшись: "Че-ерт возьми совсем!.."   
     - Кто там? - послышалось за его спиной.   
     Павел Георгиевич выпрямился, полуобернулся. В освещенном проеме двери стояла невысокая худенькая женщина, и он сразу, еще не различив лица, узнал ее...   
     - Мария Петровна, - тихо и зовуще сказал Павел Георгиевич, - вы меня узнаете?   
     - Входите, - сказала она тем вежливым, строгим голосом, каким, очевидно, обращалась к родителям своих учеников, когда те приходили "поговорить".   
     Павел Георгиевич вошел, опустив руки, и, глядя в близоруко прищуренные глаза своей учительницы, повторил:   
     - Вы не узнаете? Мария Петровна, это я...   
     Она несколько секунд всматривалась в него снизу вверх, он видел ее болезненно-бледное, состарившееся, будто источенное лицо, и в эту минуту, сдерживая жалость, отметил про себя, как сильно она изменилась, стала еще более тонкий, хрупкой, только седые волосы были коротко и знакомо подстрижены.   
     - Паша Сафонов... Паша? - проговорила она почти испуганно, и Павлу Георгиевичу показалось, что лицо ее задрожало. - Садись, пожалуйста... Прости, у меня кавардак... Садись, пожалуйста, вот сюда. К столу, Паша... Ты приехал?   
     - Да, да, я сейчас, я сейчас! - обрадованно заговорил Сафонов, с неловкостью вешая плащ, шляпу на вешалку, где виднелось одинокое пальто Марии Петровны. И, вешая, не понимал, не знал, почему это он, взрослый, солидный человек, робел, краснел, как школьник, как в те годы.   
     Он хотел пожать Марии Петровне руку, но сдержался и не пожал, как не жмут при встрече руку матери, и сейчас же потянулся за папиросами и, вынув коробку, спросил совсем стеснительно:   
     - Можно?   
     Они сели за стол. Мария Петровна с непонятной настороженностью, с неверием, улыбаясь ему своими близорукими глазами, быстро повторяла:   
     - Ну вот, Паша, ты приехал... не узнать. Ты в командировку, по делам?   
     - Я проездом, Мария Петровна, - ответил он и не сказал, что отдыхал на юге, о чем говорить было, наверно, легкомысленно и неудобно.   
     - Мы сейчас с тобой чай... Подожди, подожди, мы сейчас чай. - И она встала и внезапно снова, как бы обессиленно, села, положив тонкие руки на стол, неверяще улыбнулась. - Да, да, Паша... Совсем не ожидала. Вот Паша Сафонов...   
     - Мария Петровна, чай не надо, - смущенно проговорил он. - Я только что поужинал...   
     Пить чай ему не хотелось; хотелось ему только вот так сидеть за столом, смотреть на Марию Петровну, говорить, спрашивать... Но Мария Петровна, вроде не слушая его, взяла чайник, движения ее показались ему стесненными.   
     - Я сейчас, Паша... Прости, что я называю тебя так. Ты ведь теперь...   
     Она не договорила, вышла на кухню, и тут, приходя в себя, Павел Георгиевич вздохнул освобожденно, провел ладонью по лбу, огляделся. Она была, как и до войны, одинока и жила в той же маленькой комнатке с одним окном в сад. Все было по-прежнему: стол, кровать, цветной коврик на стене, какая-то вышивка на тумбочке, широкий вместительный шкаф, набитый книгами; посреди стола - чернильница, стопка тетрадей, сбоку - красный, аккуратно отточенный карандаш. В этой комнатке он был лишь один раз. Его вызвала Мария Петровна и хмурилась, говорила с ним строго: кажется, тогда он сделал прыгающую чернильницу и поставил ее на стол преподавательнице немецкого языка. Сейчас Сафонов просто не поверил: пропасть времени лежала между прежним Пашкой и настоящим Павлом Георгиевичем, конструктором, вот в эту минуту не без смущения сидящим за этим столом.   
     Вошла Мария Петровна с чайником, весело сказала:   
     - Все готово! Ну, Паша, рассказывай о себе, что ты, как? А впрочем, я многое о тебе знаю. Из газет, статьи, книгу твою читала. Ты женился? - поспешно спросила она.   
     - Да, Мария Петровна, - ответил Сафонов.   
     Она подозрительно-ласково посмотрела на него.   
     - Счастлив?   
     - Как будто, Мария Петровна. У меня сын.   
     Она, точно не расслышав, сейчас же сказала:   
     - Ну хорошо! А как работа? Над чем работаешь?   
     - Над новой конструкцией, Мария Петровна.   
     - Ну и как? Удачно?   
     - Пока не знаю. Знаете что, Мария Петровна, давайте говорить о прошлом, о школе...   
     Мария Петровна покачала головой, проговорила задумчиво:   
     - Я хорошо помню ваш класс. Довоенный класс. Это были озорные, способные мальчишки. И хорошо помню твою дружбу с Витей Снегиревым.   
     - А помните, Мария Петровна, как вы мне ставили "плохо" по алгебре? В седьмом классе, кажется...   
     - Да. За то, что ты не делал домашних заданий, надеялся, что кривая вывезет. А математика прекрасно тебе давалась. Но ты был ленив.   
     - Мария Петровна, а помните, я устроил систему шпаргалок?   
     - Это то изобретение, когда шпаргалка двигалась по ниточке между партами?   
     - Да! - Павел Георгиевич засмеялся. - А прыгающая чернильница? Нет, сейчас бы я до такой штуки не додумался. Помню: сидел ночь, ломал голову, высчитывал мощность пружинки, чтоб чернильница подпрыгнула именно в тот момент, когда преподаватель макнет ручку.   
     Мария Петровна прищурилась, словно сдерживая улыбку.   
     - А я хорошо помню другое; как ты, Паша, стоял вот перед этим столом...   
     Она не договорила, налила в чашки чай, взяла ложечку, задумалась и спросила:   
     - Ты помнишь Мишу Шехтера?   
     - Ну конечно! Завидовал ему! Мы в классе зачитывали его сочинения: "Образ Татьяны", "Горе от ума". У меня ничего не получалось.   
     - Он стал журналистом, - медленно проговорила Мария Петровна. - Ездит по всей стране, за границу, Часто читаю его статьи. И часто вспоминаю...   
     - Он заезжал?   
     - Нет.   
     - Да, - сказал Сафонов. - Разлетелись... Я слышал, Витька Снегирев - директор завода на Урале. Не думал! Игнатцев Сенька - начальник главка, слышали? Я его встречал в Москве. Солидный, не узнать. А он не заезжал?   
     - Что? - спросила Мария Петровна и, опустив глаза, тихонько кивнула: - Ты пей чай, Паша...   
     - Мария Петровна, а кто заходил к вам, кого вы встречали еще из нашего класса? - возбужденно спросил Сафонов. - Гришу Самойлова видели? Артист. Помните, он корчил рожи, а вы ему сказали, что у него способности? Занятный был парень.   
     - Я его видела только в кино, Паша.   
     - Я тоже. Неужели не приезжал?   
     Мария Петровна не ответила, она, наклонив голову, мешала ложечкой в чашечке, и он увидел на ее пальце неотмывшееся чернильное пятно, перевел взгляд на ее источенное лицо и с какой-то внезапной жалостью, с любовью увидел морщины вокруг ее губ, ее тонкую, слабую шею, коротко подстриженные, сплошь белые волосы, и что-то больно, тоскливо сжалось у Павла Георгиевича в груди. Он подумал, что, если бы она умерла, он не знал бы этого. И не знали бы другие...   
     - Мария Петровна, - еле слышным голосом повторил Сафонов, - Витя Снегирев, значит, не был у вас? Кажется, он в прошлом году заезжал сюда.   
     Она сидела, по-прежнему наклонив голову, и только замедлила движение ложечки в чашке.   
     - Нет, не был...   
     - А кто был?   
     - Что? Ты, пожалуйста, пей чай. Остынет.   
     - Мария Петровна, а интересно, кто-нибудь пишет вам? Помните, был Володя Бойков, Нина Винокурова? Боря Гмыря? Что-нибудь знаете о них?   
     Мария Петровна, опять не ответив, оглянулась на окно, там чернел сад, сквозь деревья пульсирующе замелькал свет проходившего троллейбуса.   
     - Нет, Паша, - сказала она. - Ко мне часто заходит Коля Сибирцев. Он работает на шахте. У него неудачно сложилась жизнь. Он часто заходит.   
     Сафонов смутно помнил Колю Сибирцева. Этот парень был, кажется, тихий, робкий, ничем не приметный, никакими особыми способностями не отличался, и Павел Георгиевич едва-едва представил его лицо.   
     - Плохо помню его, - пожав плечами, сказал он. - Забыл!   
     - Очень плохо, - не то насмешливо, не то осуждающе проговорила Мария Петровна.   
     Они помолчали. Но от этих последних слов "очень плохо" Сафонову стало не по себе, он понял двойной их смысл. В наступившей тишине он придвинул чашку, неловко потянулся за сахаром и увидел, что Мария Петровна ищущим, долгим взглядом смотрит на книжный шкаф. Он тоже посмотрел и заметил в первом ряду знакомый корешок своей последней книги по самолетостроению.   
     - Мария Петровна, - тихо и полувопросительно проговорил он.   
     - Что, Паша?   
     - У вас, Мария Петровна, моя книга? - проговорил вполголоса Сафонов и тотчас замолчал, вспомнив, что эту книгу он не присылал ей.   
     - Да, я читала.   
     Тогда он встал, вынул из шкафа свою книгу "Конструкция самолетов", полистал и, чувствуя, что лицо его начинает жарко гореть, проговорил сконфуженно, с глупой готовностью:   
     - Мария Петровна, я вам надпишу. Разрешите?..   
     Неожиданно из книги выпал маленький листок, он торопливо поднял его, ясно увидел свой портрет, вырезанный из газеты, и ошеломленно оглянулся на Марию Петровну, - она мешала ложечкой и очень быстро говорила:   
     - Неплохая" книга... Прочитала с интересом. А это из "Правды", Паша. Когда я увидела, я дала тебе телеграмму.   
     Он так же поспешно, точно скрывая нечто порочащее его, неприятное, спрятал листок в книгу и, охваченный стыдом и ненавистью к себе, теперь отчетливо и хорошо вспомнил, что он действительно получил телеграмму два года назад среди кучи других поздравительных телеграмм и не ответил на нее, хотя ответил на другие.   
     Сафонов неясно помнил, что написал на книге, но хорошо помнил, как они прощались: он как-то стыдливо снял свой роскошный плащ, который висел рядом с потертым пальто старой учительницы, и с непроходящим ощущением вины поклонился. Она зажгла в передней свет, вышла проводить.   
     Он молчал. Мария Петровна, тоже помолчав, вдруг спросила робко:   
     - Скажи, Паша, хоть капелька моей доли есть в твоей работе? Хоть что-нибудь...   
     - Мария Петровна, что вы говорите? - в замешательстве забормотал он. - Если бы не вы!..   
     Она посмотрела ему в глаза, сказала вздрагивающим голосом:   
     - Ты думаешь, я не рада? Какой гость был у меня! Ты думаешь, я не скажу об этом завтра своим ученикам?.. Иди, Паша, больших успехов тебе. Будь счастлив...   
     Они простились. Он быстро пошел по дорожке ночного сада. И не выдержал, оглянулся. Дверь передней была еще распахнута, и в темный парк падал желтый косяк света. Мария Петровна стояла на крыльце, и худенькая, неподвижная фигурка ее отчетливо чернела в проеме двери.   
     Всю дорогу до Москвы Сафонов не мог успокоиться, переживал чувство жгучего, невыносимого стыда. Он думал о Витьке Снегиреве, о Шехтере, о Самойлове - о всех, с кем долгие годы учился когда-то, и хотелось ему достать их адреса, написать им гневные, уничтожающие письма. Но он не знал их адресов. Потом он хотел написать Марии Петровне длинное извинительное письмо, но с ужасом и отчаянием подумал, что не знает номера ее дома.   
     На большой станции Сафонов, хмурый, взволнованный, вышел из вагона. Он зашел на почту и, поколебавшись, дал телеграмму на адрес школы, на имя Марии Петровны. В телеграмме этой было два слова:   
     "Простите нас".

Осколок снаряда порвал струны на скрипке. Осталась только одна, последняя. Запасных струн у музыканта Егорова не было и достать их было негде, потому что дело происходило осенью 1941 года на осажденном острове Эзеле, в Балтийском море, на небольшом его клочке, — где советские воины отбивали непрерывные атаки немцев.

Война застала в Эзеле нескольких советских актеров — мужчин и женщин. Днем мужчины вместе с бойцами рыли окопы и отбивали немецкие атаки, а женщины перевязывали раненых и стирали бойцам белье. Ночью, если не было боя, актеры устраивали концерты и спектакли на маленьких полянах в лесу.

         —  Хорошо, — скажете   вы, — конечно, в темноте   можно слушать пение или музыку, но непонятно, как актеры ухитрялись разыгрывать спектакли в ночном лесу. Что в этом мраке могли увидеть зрители?

Но война и отсутствие света по ночам создали свои традиции и выдумки. Как только начинался спектакль, зрители наводили на актеров узкие лучи карманных электрических фонариков. Лучи эти все время перелетали, как маленькие огненные птицы, с одного лица на другое в зависимости от того, кто из актеров в это время говорил.

На Егорова зрители никогда не наводили лучи фонариков. Всегда он играл в темноте, и единственной точкой света, какую он часто видел перед собой, была большая звезда. Она лежала на краю моря, как забытый маяк.

Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. На первом же ночном концерте он сказал об этом невидимым зрителям. Неожиданно из лесной темноты чей-то молодой голос неуверенно ответил:

         —  А Паганини играл и на одной струне…

Паганини! Разве Егоров мог равняться с ним, с великим музыкантом!

Все же он медленно поднял скрипку к плечу. Звезда спокойно горела на краю залива. Свет ее не мерцал, не переливался, как всегда. Егоров заиграл. И неожиданно одна струна запела с такой же силой и нежностью, как могли бы петь все струны.

Тотчас вспыхнули электрические фонарики. Впервые их лучи ударили в лицо Егорова, и он закрыл глаза. Играть было легко, будто сухие, легкие пальцы Паганини водили по изуродованной скрипке.

...В коротком антракте войны, в глухом лесу, где пахло вереском и гарью, звенела и росла мелодия Чайковского, и от ее томительного напева, казалось, разорвется, не выдержит сердце.

И последняя струна, действительно, не выдержала силы звуков и порвалась. Сразу же свет фонариков перелетел с лица Егорова на скрипку. Скрипка замолчала надолго. И свет фонариков погас. Толпа слушателей только вздохнула.

Я рассказываю подлинный случай. Поэтому напрасно вы будете ждать ловко придуманной развязки. Егорову не на чем было играть, он стал обыкновенным бойцом в обыкновенном отряде. И во время одного ночного боя советский воин отдал свою жизнь за Родину.

Его похоронили в грубой песчаной земле. Накрапывал дождь. Море затянуло туманом...

Скрипку Егорова бойцы положили в футляр, зашили в старое байковое одеяло и передали летчику, улетавшему в Ленинград. Летчик сразу же набрал высоту, чтобы уйти от немецких зениток. Десятки огней вспыхивали за хвостом самолета.

В Ленинграде летчик отнес скрипку к известному дирижеру. Тот взял ее двумя пальцами, взвесил в воздухе и улыбнулся; это была итальянская скрипка, потерявшая вес от старости и многолетнего пения.

         — Я передам ее лучшему скрипачу нашего оркестра,— сказал летчику дирижер.

Где теперь эта скрипка — я не знаю. Но где бы она ни была, она играет прекрасные мелодии, знакомые нам и любимые нами, как каждое слово Пушкина, Шекспира и Генриха Гейне. Она играет мелодии Чайковского, заставляя сердца слушателей дрожать от гордости за гений своей страны, за гений человека.

ТРИДЦАТЬ ТРИ БОГАТЫРЯ

Их было 33. Как в сказке. 33 богатыря. 33 отважных советских солдата. Западнее Сталинграда защищали бойцы важную высоту. Не смогли здесь фашисты вперёд прорваться. Обошли высоту фашисты. Попали бойцы в окружение.

Не дрогнули смельчаки, 27 танков подбили в бою герои. Уничтожили 150 фашистов.

Кончились боеприпасы. Прорвались солдаты сквозь окружение. Вернулись к своим войскам. Все оказались целы, все невредимы. Лишь один рядовой Жезлов неопасно осколком ранен.

Обступили солдаты героев. Интересно узнать подробности. Вот стоит Семён Калита. Отличился в бою Калита. Первым уничтожил фашистский танк.

— А ну, расскажи, расскажи про геройство, — атаковали его солдаты.

Засмущался Семён Калита:

— Да я… Да что я… Вот Иван Тимофеев. Вот это да. Вот это герой.

И это верно — рядовой Иван Тимофеев уничтожил два неприятельских танка.

Повернулись солдаты к Ивану Тимофееву:

— А ну, расскажи, расскажи про геройство.

Засмущался Иван Тимофеев:

— Да я… Да что я… Вот Владимир Пасхальный — вот кто герой. Вот кто лучше других сражался.

И верно. Младший сержант Владимир Пасхальный три фашистских танка вывел из строя. Вот кто герой, конечно.

Не отпускают солдаты Пасхального:

— Ну, ну, расскажи про подвиг.

Засмущался Владимир Пасхальный:

— Да я… Да что я… Вот товарищ младший политрук Евтифеев — вот кто из героев герой настоящий.

И верно. Младший политрук Евтифеев подбил четыре фашистских танка. Поражаются солдаты:

— Вот это да!

— Вот так стрелок!

— Провёл, выходит, среди фашистов политбеседу!

Окружили солдаты политрука:

— Товарищ Евтифеев, расскажи про геройство.

Усмехнулся Евтифеев, начал рассказывать.

Рассказал о героях: о младшем сержанте Михаиле Мингалеве, о солдате Николае Власкине, о старшине Дмитрии Пуказове и о других бойцах.

— Про себя, про себя! — закричали солдаты.

Засмущался Евтифеев.

— Да я… — Глянул вокруг, увидел Семёна Калиту, того, кто первым подбил неприятельский танк: — Вот пусть вам Семён Калита про себя расскажет. Он всему положил начало…

Сталинград. Штаб Сталинградского фронта. Командующий фронтом генерал-полковник Андрей Иванович Ерёменко.

Доложили о подвиге 33-х отважных генералу Ерёменко:

— Товарищ командующий, подбили двадцать семь танков. Живыми назад вернулись.

— Двадцать семь?

— Так точно, двадцать семь.

— Герои, — сказал Ерёменко, — герои. — Помолчал, добавил: — А то, что смерть победили, что жизнь сберегли, — дважды они герои. Богатыри!

33 советских богатыря — так и окрестили солдаты героев прославленной высоты. А вскоре и награды пришли к героям. Ордена и медали засверкали у них на груди.

Автор рассказов — Сергей Алексеев

 Платонов Андрей Платонович

 МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ

 Рассказ

 Недалеко от линии фронта, внутри уцелевшего вокзала, сладко храпели уснувшие на полу красноармейцы; счастье отдыха было запечатлено на их усталых лицах.

 На втором пути тихо шипел котел горячего дежурного паровоза, будто пел однообразный, успокаивающий голос из давно покинутого дома. Но в одном углу вокзального помещения, где горела керосиновая лампа, люди изредка шептали друг другу уговаривающие слова, а затем и они впали в безмолвие.

 Там стояли два майора, похожие один на другого не внешними признаками, но общей добротою морщинистых загорелых лиц; каждый из них держал руку мальчика в своей руке, а ребенок умоляюще смотрел на командиров. Руку одного майора ребенок не отпускал от себя, прильнув затем к ней лицом, а от руки другого осторожно старался освободиться. На вид ребенку было лет десять, а одет он был как бывалый боец - в серую шинель, обношенную и прижавшуюся к его телу, в пилотку и в сапоги, пошитые, видно, по мерке, на детскую ногу. Его маленькое лицо, худое, обветренное, но не истощенное, приспособленное и уже привычное к жизни, обращено было теперь к одному майору; светлые глаза ребенка ясно обнажали его грусть, словно они были живою поверхностью его сердца; он тосковал, что разлучается с отцом или старшим другом, которым, должно быть, доводился ему майор.

 Второй майор привлекал ребенка за руку к себе и ласкал его, утешая, но мальчик, не отымая своей руки, оставался к нему равнодушным. Первый майор тоже был опечален, и он шептал ребенку, что скоро возьмет его к себе и они снова встретятся для неразлучной жизни, а сейчас они расстаются на недолгое время. Мальчик верил ему, однако и сама правда не могла утешить его сердца, привязанного лишь к одному человеку и желавшего быть с ним постоянно и вблизи, а не вдалеке. Ребенок знал уже, что такое даль расстояния и время войны, - людям оттуда трудно вернуться друг к другу, поэтому он не хотел разлуки, а сердце его не могло быть в одиночестве, оно боялось, что, оставшись одно, умрет. И в последней своей просьбе и надежде мальчик смотрел на майора, который должен оставить его с чужим человеком.

 Второй майор привлекал ребенка за руку к себе и ласкал его, утешая, но мальчик, не отымая своей руки, оставался к нему равнодушным. Первый майор тоже был опечален, и он шептал ребенку, что скоро возьмет его к себе и они снова встретятся для неразлучной жизни, а сейчас они расстаются на недолгое время. Мальчик верил ему, однако и сама правда не могла утешить его сердца, привязанного лишь к одному человеку и желавшего быть с ним постоянно и вблизи, а не вдалеке. Ребенок знал уже, что такое даль расстояния и время войны, - людям оттуда трудно вернуться друг к другу, поэтому он не хотел разлуки, а сердце его не могло быть в одиночестве, оно боялось, что, оставшись одно, умрет. И в последней своей просьбе и надежде мальчик смотрел на майора, который должен оставить его с чужим человеком.

 - Ну, Сережа, прощай пока, - сказал тот майор, которого любил ребенок. - Ты особо-то воевать не старайся, подрастешь, тогда будешь. Не лезь на немца и береги себя, чтоб я тебя живым, целым нашел. Ну, чего ты, чего ты, - держись, солдат!

 Сережа заплакал. Майор поднял его к себе на руки и поцеловал в лицо несколько раз. Потом майор пошел с ребенком к выходу, и второй майор тоже последовал за ними, поручив мне сторожить оставленные вещи.

 Вернулся ребенок на руках другого майора; он чуждо и робко глядел на командира, хотя этот майор уговаривал его нежными словами и привлекал к себе, как умел.

 Майор, заменивший ушедшего, долго увещевал умолкшего ребенка, но тот, верный одному чувству и одному человеку, оставался отчужденным.

 Невдалеке от станции начали бить зенитки. Мальчик вслушался в их гулкие мертвые звуки, и во взоре его появился возбужденный интерес.

 - Их разведчик идет! - сказал он тихо, будто самом

 - Их разведчик идет! - сказал он тихо, будто самому себе. - Высоко идет, и зенитки его не возьмут, туда надо истребителя послать.

 - Пошлют, - сказал майор. - Там у нас смотрят.

 Нужный нам поезд ожидался лишь назавтра, и мы все трое пошли на ночлег в общежитие. Там майор покормил ребенка из своего тяжело нагруженного мешка. "Как он мне надоел за войну, этот мешок, - сказал майор, - и как я ему благодарен!"

 Мальчик уснул после еды, и майор Бахичев рассказал мне про его судьбу.

 Сергей Лабков был сыном полковника и военного врача. Отец и мать его служили в одном полку, поэтому и своего единственного сына они взяли к себе, чтобы он жил при них и рос в армии. Сереже шел теперь десятый год; он близко принимал к сердцу войну и дело отца и уже начал понимать по-настоящему, для чего нужна война. И вот однажды он услышал, как отец говорил в блиндаже с одним офицером и заботился о том, что немцы при отходе обязательно взорвут боезапас его полка. Полк до этого вышел из немецкого охвата - ну, с поспешностью, конечно, и оставил у немцев свой склад с боезапасом, а теперь полк должен был пойти вперед и вернуть утраченную землю и свое добро на ней, и боезапас тоже, в котором была нужда. "Они уж и провод в наш склад, наверно, подвели - ведают, что отойти придется", - сказал тогда полковник, отец Сережи. Сергей вслушался и сообразил, о чем заботился отец. Мальчику было известно расположение полка до отступления, и вот он, маленький, худой, хитрый, прополз ночью до нашего склада, перерезал взрывной замыкающий провод и оставался там еще целые сутки, сторожа, чтобы немцы не исправили повреждения, а если исправят, то чтобы опять перерезать провод. Потом полковник выбил оттуда немцев, и весь склад целым перешел в его владение.

 Вскоре этот мальчуган пробрался подалее в тыл противника; там он узнал по признакам, где командный пункт полка или батальона, обошел поодаль вокруг трех батарей, запомнил все точно - память же ничем не порченная, а вернувшись домой, указал отцу по карте, как оно есть и где что находится. Отец подумал, отдал сына ординарцу для неотлучного наблюдения за ним и открыл огонь по этим пунктам. Все вышло правильно, сын дал ему верные засечки. Он же маленький, этот Сережка, неприятель его за суслика в траве принимал: пусть, дескать, шевелится. А Сережка, наверно, и травы не шевелил, без вздоха шел.

 Вскоре этот мальчуган пробрался подалее в тыл противника; там он узнал по признакам, где командный пункт полка или батальона, обошел поодаль вокруг трех батарей, запомнил все точно - память же ничем не порченная, а вернувшись домой, указал отцу по карте, как оно есть и где что находится. Отец подумал, отдал сына ординарцу для неотлучного наблюдения за ним и открыл огонь по этим пунктам. Все вышло правильно, сын дал ему верные засечки. Он же маленький, этот Сережка, неприятель его за суслика в траве принимал: пусть, дескать, шевелится. А Сережка, наверно, и травы не шевелил, без вздоха шел.

 Ординарца мальчишка тоже обманул, или, так сказать, совратил: раз он повел его куда-то, и вдвоем они убили немца, - неизвестно, кто из них, - а позицию нашел Сергей.

 Так он и жил в полку, при отце с матерью и с бойцами. Мать, видя такого сына, не могла больше терпеть его неудобного положения и решила отправить его в тыл. Но Сергей уже не мог уйти из армии, характер его втянулся в войну. И он говорил тому майору, заместителю отца, Савельеву, который вот ушел, что в тыл он не пойдет, а лучше скроется в плен к немцам, узнает у них все, что надо, и снова вернется в часть к отцу, когда мать по нем соскучится. И он бы сделал, пожалуй, так, потому что у него воинский характер.

 А потом случилось горе, и в тыл мальчишку некогда стало отправлять. Отца его, полковника, серьезно поранило, хоть и бой-то, говорят, был слабый, и он умер через два дня в полевом госпитале. Мать тоже захворала, затомилась, она была раньше еще поувечена двумя осколочными ранениями, одно было в полость, и через месяц после мужа тоже скончалась; может, она еще по мужу скучала... Остался Сергей сиротой.

 Командование полком принял майор Савельев, он взял к себе мальчика и стал ему вместо отца и матери, вместо родных всем человеком. Мальчик ответил Володе тоже всем сердцем.

 - А я-то не их части, я из другой. Но Володю Савельева я знаю еще по давности. И вот встретились мы тут с ним в штабе фронта. Володю на курсы усовершенствования посылали, а я по другому делу там находился, а теперь обратно к себе в часть еду. Володя Савельев велел мне поберечь мальчишку, пока он обратно не прибудет... Да и когда еще Володя вернется, и куда его направят! Ну, это там видно будет...

 Майор Бахичев задремал и уснул. Сережа Лабков всхрапывал во сне, как взрослый, поживший человек, и лицо его, отошедши теперь от горести и воспоминаний, стало спокойным и невинно-счастливым, являя образ святого детства, откуда увела его война.

 Я тоже уснул, пользуясь ненужным временем, чтобы оно не проходило зря.

 Проснулись мы в сумерки, в самом конце долгого июньского дня. Нас теперь было двое на трех кроватях - майор Бахичев и я, а Сережи Лабкова не было.

 Майор обеспокоился, но потом решил, что мальчик ушел куда-нибудь на малое время. Позже мы прошли с ним на вокзал и посетили военного коменданта, однако маленького солдата никто не заметил в тыловом многолюдстве войны.

 Наутро Сережа Лабков тоже не вернулся к нам, и бог весть, куда он ушел, томимый чувством своего детского сердца к покинувшему его человеку, может быть, вослед ему, может быть, обратно в отцовский полк, где были могилы его отца и матери.

**Виталий Александрович Закруткин**

**Пятый патрон**

В третьем эскадроне гвардейского кавалерийского полка служил казак комсомолец Тихон Брызгалов. Был он здоровый, краснощекий, ел за двоих, крепко любил поспать и, как говорится, особых примет не имел.

Молодые казаки частенько посмеивались над Брызгаловым. Однажды на рубке лозы, выполняя команду «вниз направо — руби», Брызгалов зазевался и так полоснул клинком свою гнедую кобылу, что ветеринар две недели отхаживал ее. Правда, была у Брызгалова одна особенность, за которую его втайне уважали даже самые старые казаки-добровольцы, — он отлично стрелял.

Собственно, слово «отлично» не определяло изумительного умения Брызгалова — он стрелял артистически, не зная промахов, и делал чудеса своим карабином. Стрельба была его страстью, каждый день он искал повода пострелять.

И вот недавно произошел с Брызгаловым случай, о котором все заговорили. Конечно, на войне всякие случаи бывают, но то, что рассказали о Брызгалове, казалось необыкновенным, из ряда вон выходящим.

А было это так: под Гуляй-Полем наша пехота пробила в гитлеровской обороне дыру, и ворвались в эту дыру казаки, чтобы ударить отступающих фашистов с тыла. Эскадрон, в котором служил Брызгалов, в двухчасовом бою уничтожил сотни две гитлеровцев и занял совхозную ферму под хутором Д., но в сумерках на развилке дорог был жестоко обстрелян из пулеметов, спешился и залег в балке.

Вечером командир эскадрона приказал Брызгалову и еще двум казакам пробраться к хутору Д. и разведать огневые точки противника.

— Только глядите, — сказал командир, — чтоб к утру вернуться.

Когда стемнело, казаки вышли на проселок, по пашням доползли до хутора, на баштане встретили двух стариков сторожей, узнали все, что было нужно, и к полуночи двинулись в обратный путь. Но, как на грех, подстерегли их в яру немецкие автоматчики, внезапно обстреляли и убили двух ползущих впереди спутников Брызгалова.

Брызгалов полз сзади и, когда раздались выстрелы, приник к земле и притих. Он слышал, как крикнул смертельно раненный казак Первушин, слышал осторожные голоса немцев впереди и слева и лежал, затаив дыхание.

Темнота мешала Брызгалову определить укрытие, за которым прятались немцы, и не давала возможности подсчитать, сколько их. По его расчету, впереди ярочка, на холме, метрах в пятидесяти от бурьяна, в котором он лежал, росла кукуруза — он хорошо помнил, как по пути на хутор полз по кукурузному полю. Гитлеровцы, должно быть, лежали в кукурузе. По их осторожным, приглушенным голосам Брызгалов понял, что фашистов было человек десять.

Он прижался к земле — левую щеку больно колол сухой репей — и думал, заметили его или нет.

Сердце его бешено колотилось. А тут еще одно несчастье: хватился Брызгалов, а подсумка с патронами нет — видно, потерял, когда полз по пашне.

Похолодел Брызгалов: фашистов десятеро, а у него в карабине только пять патронов — четыре в магазине, один в стволе. Выругался мысленно Брызгалов и подумал: «Живой не дамся! Четырех убью, а потом ствол в рот — и конец».

Немцы шелестели кукурузой где-то неподалеку, тихонько переговаривались. Один из них глухо кашлял в кулак — должно быть, простужен был. Прошло минут двадцать или тридцать. Наконец Брызгалов услышал негромкий голос:

— Казак, сдавайся!

По голосу Брызгалов понял, что гитлеровцы действительно в кукурузе и еще не подходили к трупам его товарищей. Он решил молчать. «Наверное, проверяют, сволочи», — подумал он.

— Третий казак, сдавайся! — повторил тот же голос.

Брызгалов вздрогнул — значит, заметили, подлюки, что было трое. Немцы притихли. Брызгалов молчал, вдыхал горьковатый запах полыни, напряженно вслушиваясь в тишину, — не вздумают ли немцы приблизиться к нему.

Прошло еще немного времени, и он явственно услышал, что из кукурузы идут фашисты. Они шли осторожно, но его напряженный слух ловил и потрескивание кукурузных стеблей и легкое шуршание сухой травы.

Подавшись вперед, вытянув карабин, он всем своим существом стремился определить точное направление звука, чтобы выстрелить наверняка, а он знал, что сейчас обязательно нужно будет стрелять, и медленно передвинул карабин слева направо, вслед за движением звуков.

За его спиной внезапно вспыхнула ракета, и он на одну десятую долю секунды увидел слева обломанный репей, справа — темные бугорки сурочьих нор и прямо — высокие фигуры четырех гитлеровцев. В это мгновение он, поймав на мушку того, который шел в середине, выстрелил, чуть сдвинул ствол влево и выстрелил второй раз. Фашисты закричали. Ракета погасла.

Отстреливаясь, два гитлеровца побежали куда-то в направлении кукурузы. Брызгалов рванулся вперед, но споткнулся и упал в какую-то яму и больно ударился коленом. Падая, он хорошо заметил, где сверкнул огонек одиночного выстрела — очевидно, кто-то из фашистов лежал ближе к нему.

«Стреляй, собака, еще раз, — злобно подумал он, — я тебя живо засеку».

Фашист выстрелил. Продолговатый огонек сверкнул, расширяясь направо. Брызгалов отвел мушку левее и спокойно нажал спусковой крючок. Фашист умолк. Постреливали только из кукурузы. «Третий готов, — подумал Брызгалов, — остается два патрона: один кому-то из вас, собаки, второй мне…»

Он осторожно пополз вперед и, нащупав рукой ложбинку, лег. Теперь голоса немцев стали слышнее. На одно мгновение у Брызгалова мелькнула мысль: «А может, удастся уползти? Возьму чуток правее и попробую», — но он сразу же отверг эту мысль. Гитлеровцы, как видно, лежали тремя группами, окружая его с трех сторон, и, конечно, уползая, он неминуемо попал бы в их лапы. Словно в подтверждение этой догадки, за спиной Брызгалова раздались три выстрела.

«Так и есть, окружили, сволочи, — с тоскливой злобой подумал Брызгалов. — Ну, теперь, патрон — вам, патрон — мне».

Он решил ждать. Приближался рассвет. Стало холоднее, трава покрылась росой. На хуторе пропел петух. Звезды поблекли. Брызгалов почему-то вспомнил о том, что не успел отдать Первушину три ложки махорки, которую взял еще на Миусе. Теперь Миус позади, а мертвый Первушин лежит где-то рядом, в этом ярочке. Здесь, под Гуляй-Полем, умрет и он, Тихон Брызгалов, старочеркасский казак. Он умрет, а другие — цимлянские, вешенские, каменские — пойдут вперед.

Забрезжил рассвет. Напрягая зрение, Брызгалов увидел неподвижные махры кукурузных верхушек — начиналось безветренное сентябрьское утро.

Вдруг он услышал шорох справа. Кто-то полз, но не на него, а туда, в кукурузу. За бурьянами еще нельзя было рассмотреть ползущего, но, конечно, это был тот, что лежал за спиной и теперь пробирался к своим. Брызгалов подождал, пока гитлеровец дополз до узкого просвета между двумя кучами перекати-поля, прицелился и выстрелил. В ответ захлопали выстрелы со всех сторон.

«Затравили, как волка…» — ругнулся Брызгалов. Он вдруг отчаянно закричал, забился на земле и затих, притворившись мертвым. Несколько минут стояла странная тишина. Держа наготове карабин, Брызгалов ждал.

И вот он увидел фашистов. Их было семь человек, Они сбежались в кукурузу, о чем-то поговорили и осторожно пошли к нему. Пока они приближались, Брызгалов успел даже рассмотреть их одежду. Слева шел офицер — его можно было узнать по светлым погонам и сапогам. Справа, прихрамывая, выставив автомат, ковылял сутулый верзила в черном комбинезоне. Впереди, с гранатой в руке, шел широкоплечий, коротконогий крепыш в надвинутой до самого носа каске.

Брызгалова внезапно кинуло в жар — граната! Большая, с длинной рукояткой! Она, конечно, на боевом взводе.

Коротконогий поднял гранату, угрожающе занес ее над плечом. Семеро фашистов шли прямо на Брызгалова.

Решение пришло к Брызгалову молниеносно. Не шевелясь, он чуть приподнял карабин и, лежа на боку, Стал целиться, ловя на мушку гранату. Граната, раскачиваясь, плыла по иссиня-розовому небу, ускользая от мушки, похожая на птицу с длинной вытянутой шеей. Боясь шевельнуться, Брызгалов ловил ее черную голову: ведь у него оставался последний, пятый, патрон! Но вот черное пятно наплыло на острие мушки — Брызгалов выстрелил.

Его оглушил взрыв. Раздались крики раненых фашистов. Все они лежали на земле, только хромой солдат в комбинезоне, убегал в кукурузу.

Брызгалов подошел к мертвому офицеру, снял с него сумку, сунул за пояс его парабеллум, обыскал остальных гитлеровцев — двое из них были ранены в живот и следили за Брызгаловым широко раскрытыми глазами.

Собрав документы, Брызгалов поднял тесак, срезал несколько ружейных ремней и побежал к балочке, где лежали мертвые Первушин и Самохин. Он связал их тела ремнями, положил на шинель и потянул за собой в кукурузу.

В эскадроне Брызгалов коротко рассказал о случившемся и на вопрос лейтенанта, как он не растерялся к смог хладнокровно стрелять по гранате, подумал и коротко ответил:

— Это бывает. Ежели ты хозяин своей винтовки, то она тебя слушается завсегда.

Потом Брызгалов виновато сказал лейтенанту:

— Товарищ гвардии лейтенант, дозвольте спросить у старшины чарку водки.

И, получив разрешение, лихо щелкнул каблуками, повернулся налево кругом.

Через шесть дней генерал вручил Тихону Брызгалову орден Красного Знамени.